

НА ПОДСТУПАХ К СИНЕРГИЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ИСТОРИЯ УПОВАНИЙ*

Ф.Е.ВАСИЛЮК

*«...Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас от-
чета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благого-
вением»
(1 Петр. 3,15)*

«Без онтологии тоска берет за горло», – признались друг другу два философа в далеком уже советском 1974 году (*Мамардашвили, Пятигорский, 1974*). За психотерапевтическое горло берет другая тоска – без антропологии.

Сейчас так сильно выросло влияние психологической практики на культуру, так перегружена оказалась сама современная психология и психотерапия бесчисленными обломками всевозможных культур и культов, что, быть может, главное наше профессиональное дело состоит сегодня в том, чтобы задавать себе метафизические вопросы: что есть человек? в чем его предназначение? в чем суть нашей профессии не как ремесла, но как призвания? како веруем?

Психотерапия настолько сильна и влиятельна, что не может более позволить себе оставаться антропологически беспечной и не замечать, какой мощности энергии развязывает она, раскупоривая очередной «архетип» и выпуская из него засидевшихся джиннов в душевное и социальное пространство. Возможно, конечно, отмахнуться от этой ответственности и укрыться за множеством готовых оправданий. К нашим услугам и новейший постмодернизм (для которого любая философская и аксиологическая иден-

* Доклад на 3-й международной конференции «Психология и христианство: путь интеграции», организованной фирмой «Иматон» (Санкт-Петербург, 10-13 мая 1997г.)

Исследование по данной тематике ведется автором при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант N 96-03 04563.

тичность – смешной анахронизм), и обветшалый позитивизм (мы исходим из фактов и отвечаем лишь за точность процедур), и прагматизм общий (наш закон – польза заказчика) и медицинский (ради скорейшего избавления от симптомов хороши все средства). Но нам слишком хорошо известно из наблюдений за пациентами, как патогенны поиски алиби там, где нужно мужество принятия ответственности.

Кажется, наступает такой период развития отечественной психотерапии, когда главные дифференциации в ней будут проходить не по линиям методологии, теории и техники, а по философско-антропологическим водоразделам. Наступает и наступило уже время выбора, время философского самоопределения, когда каждый психолог и психотерапевт, всерьез относящийся к профессии, должен будет дать отчет в своем уповании.

* * *

Этот доклад обращен в первую очередь к тем, кто сделал свой выбор в пользу христианской антропологии. Сам такой выбор автоматически не предрешает, какой может стать христианская психотерапия, как выбор площадки для строительства дома, пусть и наилучшей, не заменит трудов по проектированию и строительству.

В среде отечественных психологов-христиан есть две крайности. В одном случае в существующих психотерапевтических школах обнаруживается уже состоявшаяся христианская психотерапия (см. напр., *Занадворов*, 1994), и дело лишь за тем, чтобы объяснить адептам психосинтеза, гештальттерапии и пр., что они, сами того не ведая, давно говорят христианской прозой. В другой психотерапия рассматривается на фоне неисчислимых духовных богатств, глубины, подлинности церковного опыта и объявляется пустым, ничтожным, а то и бесовским занятием. Тот, кто верит, что психотерапия может быть настоящим духовным служением, оставаясь при этом и настоящей профессией, должен избрать третий путь – сохраняя трезвую и ясную духовную позицию, бережно и с уважением отнестись к исторически пройденному психотерапией пути, и как знать, не окажется ли она, вопреки своему принципиальному секуляризму, а то и атеизму, в условиях современной культуры «детоводительницей» к христианской психотерапии.

Предмет данного доклада – история психотерапевтических упований. Поясню смысл термина. Когда врач лечит больного, он рассчитывает, что лечебные мероприятия вызовут ответный процесс в организме, который, собственно, и приведет пациента к здоровью. Учитель не думает, что его объяснения сами по себе произведут в голове у ученика знания, он рассчитывает на ответный процесс понимания. Так во всяком деле, ведь и скрипач убежден, что струна отзовется. Словом, организм ли, ум ли, инструмент ли развивают в ответ на усилия человека некий процесс, упование на который составляет необходимое внутреннее условие успешной человеческой деятельности. В психотерапии, в соответствии с этой логикой, «упованием» можно обозначить тот главный механизм, основной продук-

тивный процесс, который непосредственно обеспечивает достижение терапевтических целей.

В каждой психотерапевтической школе есть своя теория, метатеория, своя мифология, технология и другие элементы и плоскости, но сердцевина всего этого сложного состава – именно «упование». Если бы в одночасье исчезли все бесчисленные книги по психоанализу и упразднилось все разветвленное психоаналитическое знание, а осталось бы лишь его упование – идея об исцеляющей силе осознания, то по одной этой идее можно было бы восстановить всю теорию и технику психоанализа. Напротив, извлеки эту идею из психоанализа, и вся его грандиозная постройка рухнет, превратившись в безжизненную грудку лишенных смысла фактов.

Пытаясь наметить основные вехи истории психотерапевтических упований, мы будем анализировать соответствующие механизмы и процессы не с теоретической или технической стороны, а со стороны философско-антропологической.

ОСОЗНАНИЕ И ВНУШАЕМОСТЬ

Основной процесс, который, по представлению З.Фрейда, обеспечивает психотерапевтический эффект, есть осознание. Весь психоанализ есть борьба за то, чтобы «на место Оно стало Я». По модусу результата эта постановка Я на место Оно состоит не столько в расширении сознания, как принято считать, сколько в расширении воли. То есть психотерапевтическое благо прежде всего в том, что Я в результате анализа перестает быть марионеткой, за ниточки которой дергает Оно, а само становится центром волеий. Пусть желания по-прежнему исходят из Оно, но Я избавляется от деспотии Оно, тем более жестокой и разрушительной, что она осуществлялась негласно, с помощью подставных лиц. Психоанализ пролил свет разума на все эти закулисные махинации, разоблачил все замаскированные фигуры, обнажил все реально действующие силы, и Я может теперь сознательно и свободно принимать решения о том, какой из импульсов реализовать, а какому отказать в реализации. (В скобках замечу, что когда подходишь мыслью к этому торжественному моменту психоанализа, к этому венцу долгих и долгих психоаналитических усилий, то становится по-человечески жалко бедное Я. Заговор разоблачен, маски сорваны, тайна раскрыта... Но ведь дальше нужно жить, а жить придется все с теми же подпольными фигурами, которые пытались обмануть Я, обойти цензуру и заставить Я служить своим интересам. В этой открывшейся новой жизни, освещенной холодным психоаналитическим светом, Я придется добровольно сотрудничать с теми силами, которые еще так недавно они вместе с психоаналитиком преследовали и вот, наконец, приперли к стенке – ведь других-то содержаний в сознании нет. Азарт и колорит детектива, погони, преследований, расшифровки тайнописи, напряженные, хоть и непростые, взаимоотношения в стане преследователей – все это так бесцветно и уныло заканчивается, так много в психоаналитическом знании печали и так мало чего-то ободряющего и окрыляющего, что более чем понятна становится

взаимная тенденция и пациента, и аналитика длить психоаналитический сериал, добавляя серию за серией. Не в одной сложности душевных процессов и не в одной финансовой выгоде длительного лечения дело.)

Итак, если по модусу результата постанова Я на место Оно знаменуется превращением Я в субъекта воления, то процессом, который обеспечивает этот результат, является осознание. Расширение и углубление сознания, увеличение знания – вот тот механизм, на который, главным образом, уповал ранний психоанализ. Фрейд, который в сознании широкой публики часто воспринимается как открыватель иррациональных глубин человеческой души, в действительности до мозга костей был рационалистом. Рациональному объяснению поддается все, даже, казалось бы, иррациональное и случайное: ошибки, обмолвки, сновидения. Фрейд – это апофеоз рационализма, это полное воплощение знаменитого бэконовского девиза «знание – сила». Если и до Фрейда хорошо было известно, что «сон разума рождает чудовищ», то, может быть, именно Фрейд стал главным и, кажется, последним апостолом разума, беззаветно верившим в его чудодейственную силу, в то, что свет разума чудовищ если и не побеждает, то приручает.

Уже современные Фрейду психотерапевты далеко не всегда разделяли это глубинное упование Фрейда на разум и сознание. Но прежде чем описывать упования, которые пришли на смену фрейдовским, стоит упомянуть главный механизм, на который рассчитывала в своей работе психотерапия до Фрейда, та, которую можно назвать предысторией современной психотерапии. Это механизм внушаемости. Пациенту в ходе гипнотического сеанса внушалось поведение, которое он должен исполнять, или мысли, которые он должен думать, или состояния, которые он должен испытывать для его же собственного блага. Что есть благо для пациента, лучше знает врач, и что ему нужно делать, думать и чувствовать для того, чтобы достичь этого блага, тоже знает врач. Роль пациента состоит в том, чтобы максимально довериться врачу, подчиниться ему, и тогда он имеет все основания надеяться, что успех лечения будет обеспечен. Вот этот механизм доверчивости и внушаемости и есть то, на что может рассчитывать врач, психотерапевт в деле исцеления своих пациентов.

Фрейд совершил просветительскую революцию в психотерапии. Психоаналитическая антропология, несмотря на всю свою ущербность, по сравнению с антропологией старой суггестивной психотерапии была куда более человеческой. Фрейд привнес в психотерапевтический образ человека Знание и Свободу, свободу сознания. Пациенту не просто стало позволено узнавать в ходе лечения нечто о себе, это его самопознание, осуществляемое с помощью аналитика, стало необходимым делом, от которого в конечном счете зависит весь успех лечения. Пациенту было также возвращено человеческое право самому решать, что есть для него благо, а что зло, он, наконец, стал пусть не равным, но все же партнером в процессе лечения. По сравнению со следующими психотерапевтическими школами и направлениями психоанализ порой воспринимается как достаточно авто-

ритарная и монологическая система, но по сравнению с доминировавшей до Фрейда суггестивной психотерапией он выглядит настоящим освободителем.

СПОНТАННОСТЬ

Еще при жизни Фрейда стали происходить глубинные сдвиги в психотерапевтической антропологии. Заселяя открытый Фрейдом материк новой психотерапии, колонисты стали открывать на нем области, очень не схожие с той, на которую высадился Фрейд. Пожалуй, наиболее радикальные отличия были обнаружены психодрамой Джекоба Морено. Сам способ и стиль жизни психодраматической провинции был просто дерзким вызовом психоаналитической метрополии. Что может больше отличаться от психоаналитической кушетки, чем психодраматическая сцена, от замершего на ней пациента, чем играющий протагонист, от смотрящего в сторону нейтрального аналитика, чем активно режиссирующий процесс директор психодрамы? Эти и другие отличия столь очевидны, что здесь можно их опустить, сконцентрировавшись на важнейшем для нас. Психодрама вовсе не уповает на то, что пациент проникнет холодным рассудком в тайные глубины своей души, он уповает на творческую спонтанность, на то, что сами эти глубины, все человеческое существо хочет выплеснуться наружу в фантазии, игре, действии, и стоит только помочь этому процессу, как он своей мощной целительной стихией изольет в творческом спонтанном выражении все то, что наболело, что сдерживалось, откладывалось, хирело в человеке, и принесет тем самым ему не только избавление от страдания, но полноценное творческое самовыражение.

Если Зигмунд Фрейд открыл материк свободы для психотерапевтической антропологии и сам исследовал и использовал ту часть этого материка, которую можно назвать Свободой Сознания, то Джекоб Морено стал режиссер-губернатором республики Свобода Воли. Разумеется, это не та сознательная, разумная и в то же время напряженная и скучная воля, которая ищет закон, необходимость и видит свою свободу в том, чтобы следовать этой необходимости и закону. Это, так сказать, вольная воля, анархическая, не спрашивающая ничьего позволения и не потому, что, как писал Лев Шестов, если спросишь – позволено ли, разумеется, не позволят, а потому, что самого такого вопроса в своей вольной природе она не имеет. Спонтанность – это первичная, как бы до различения добра и зла действующая воля, это творчество как первофеномен, созидающее бытие из ничто, рождающее начало, даже и не думающее спрашивать, что хорошо, а что плохо, что запрещено, а что позволено, просто рождающее и наслаждающееся самим этим процессом.

Когда в философской и психологической литературе обсуждается свобода воли, то общепринято различать разумную сознательную волю, с одной стороны, – и произвол, с другой. В первом случае человек опирается на познание бытия, причем это не обязательно рациональное, рассудочное познание – это может быть интуитивное, опытное постижение бытия, муд-

рость, но так или иначе речь идет о том или другом роде знания, действуя в соответствии с которым, он обнаруживает-де и реализует свою подлинную человеческую свободу. Во втором случае человек действует, нарочито не считаясь с религиозными заповедями, установлениями общества и даже с законами природы, лишь на одном-единственном основании своего желания, каприза. «Хочу» – вот автор, инициатор и безответственный исполнитель акта произвола. При всей радикальной противоположности разумной воли и произвола их сближает то, что оба эти акта уже, так сказать, лишены невинности, наивности, непосредственности, они уже – плод борьбы высшего и низшего в человеке, разумного и неразумного, мудрого и глупого, только в одном случае победило высшее, а в другом – низшее, в одном – разумное, а в другом – безрассудное, в одном – зрячее, но остывшее, в другом – горячее, но слепое. Произвол, желание, каприз не то, что не знают нормы, но нарочито не хотят знать. В отличие от них обоих спонтанность – это, повторим, «вольная воля», самодействующее бытие, бие-ние самой жизни из глубочайших ее истоков и слоев, где не только не сорвано яблоко, но не посажено еще древо познания добра и зла. Спонтанность не знает закона, но и не знает греха, ее метафора – это ветер, который, как дух, веет, где хочет, по пути вращая мельницы, надувая парус, срывая крыши, но не почему-то и не зачем-то, не «за» и не «против», а просто – так есть. Потому-то, когда приходится встречать человека, наделенного этим даром первичной свободы, человека не по выучке, не по подвигу и не по заслугам, а именно даром природным спонтанного, то просто чувствуешь, как рядом с ним легко дышится, как развеиваются сумрачные, угрюмые, тяжеловесные мысли, ограничения, предписания, каким легким становится шаг и дальним – взор. Такому человеку намного легче прощают причиненное им зло, чем иному натужному праведнику, силою воли выдавливающему из себя добро. Вот этой-то глубочайшей природы спонтанностью и объясняются прежде всего терапевтические эффекты психодрамы, разумеется, в той мере, в которой она сама реализует этот исходный принцип спонтанности, а не прибегает, как это в обычной эклектической практике сплошь и рядом бывает, к иным принципам и иным механизмам, тоже имеющим психотерапевтический потенциал.

Итак, если старая суггестивная психотерапия уповала на внушаемость, объединяющую в себе две несвободы, два рабства: согласие с тем, что «врач знает лучше», то есть послушание сознания, и подчинение ему в поведении, то есть послушание воли, – то новая психотерапия начинает уповать на свободу сознания и свободу воли.

ПЕРЕЖИВАНИЕ

В послевоенной, новейшей психотерапии происходит еще один радикальный сдвиг в психотерапевтических упованиях, который к шестидесятым годам – времени оформления гуманистической психотерапии – становится определяющим во всем психотерапевтическом мире. В своей клинической практике психотерапевты все более начинают надеяться на

переживание пациента. Независимо от того, прорабатывается ли эта категория в том или другом направлении психотерапии, в той или другой школе так же явно, как в гештальт-терапии или в клиент-центрированной терапии Карла Роджерса, практически всюду складываются разные варианты представления об особом внутреннем эмоционально насыщенном процессе, захватывающем эмоции человека, его ум, воображение, вовлекающем все его тело, в том числе вегетативные процессы, который-то и обеспечивает в конечном итоге терапевтический эффект.

Если попытаться, не фиксируясь на той или другой теории, прямо развивающей представление о переживании (*Gendlin, 1962; Василюк, 1984*), создать нечто вроде гальтоновской фотографии этой категории, фиксирующей только общие, фамильные ее черты и стирающей индивидуальные различия, то мы увидим вот что. Это процесс, во-первых, тотальный, то есть охватывающий, как только что было сказано, ум, чувства, воображение, телесные реакции – словом, всего человека. Во-вторых, субъективный, в том смысле, что человек непосредственно ощущает его, внутренне живет им, не отделяет его от себя и чувствует его как реальность, которая удостоверяет самое себя, является самосвидетельствующим бытием, не нуждающимся ни в каких внешних подтверждениях и не приемлющим никаких внешних опровержений. Слово, обращенное к переживающему человеку, которое не учитывает феноменологической самоочевидности его переживания и пытается разуверить, разубедить, успеха не имеет, оно кажется оскорбительным в своем недоверии и отторгается, независимо от того, что вызвано оно может быть самыми благими намерениями. В-третьих, произвольный, в том смысле, что субъект не предписывает себе что-то переживать или не переживать, этот процесс разворачивается в нем и захватывает его помимо его предписаний и целеполаганий. В-четвертых, продуктивный. Переживание способно совершить переворот в человеческих представлениях, взглядах, установках, вкусах, позициях, во всем том, что человек не может изменить с помощью напряжений сознания и усилий воли. Если человека постигла утрата, то тщетно окружающие и он сам будут объяснять ему ее неизбежность и закономерность. И тщетно будет он стараться усилием воли взять себя в руки, он должен будет пройти через мучительный процесс переживания, должен будет дать совершиться в своей душе работе переживания и только тогда сможет заново ощутить осмысленность и полноту жизни.

Все эти особенности процесса переживания внесли совершенно новый стиль в психотерапевтическую работу. Конечно же, дело обстояло не так, что психотерапевты изучили процесс переживания и вслед за этими психологическими исследованиями и в соответствии с ними преобразовали методы терапевтической практики. Психотехническое познание (*Лузырей, 1986; Василюк, 1992*) развивается по своим собственным законам, где скорее практика идет впереди теории, в той мере, в которой они вообще различимы. И все же в этой новой психотехнической парадигме новейшей психотерапии, где обращается категория переживания и где процесс пере-

живания становится главным упованием терапевта, появляются соответствующие чертам переживания способы, методы и принципы психотерапевтической работы. Здесь тоже не обойтись без гальтоновской фотографии, поскольку в наши цели не входит сейчас дифференцированная характеристика методов различных школ, опирающихся на процесс переживания в том или другом его облики.

Новейшая психотерапия в соответствии с тотальным характером процесса переживания все в большей степени требует от терапевта широкого сознания и полимодальной наблюдательности. От его внимания не ускользнет ни неприметный вздох, ни сновидение, ни поворот головы, ни перемена в отношениях с близкими, ни даже случайные события, абсолютно невольным свидетелем или участником которых стал пациент. Эти случайные, казалось бы, события в «канале мира» (Минделл, 1993) являются такими же важными симптомами и, главное, исполнителями его тотального процесса переживания, как случайные обмолвки в психоанализе являются знаками проговорившегося бессознательного.

Но психотерапевтическим ответом на тотальность процесса переживания является не только изоощренная наблюдательность и расширенное сознание психотерапевта, а главное, совершенно иной по сравнению с прежними психотерапевтическими эпохами способ его собственного вовлечения в психотерапевтический процесс. Не зря, например, индирективная, а потом и клиент-центрированная психотерапия Карла Роджерса получила впоследствии имя личностно-центрированной, отразив тем самым признание одним из лидеров новейшей психотерапии того обстоятельства, что целостное вовлечение личности психотерапевта в процесс является не неизбежным злом, от которого по мере сил надо избавляться, а необходимым моментом подлинных и благих изменений в личности пациента. Вся радикальность этого переворота в должной степени еще не оценена теорией и философией психотерапии, этой оценке мешают вполне понятные внутренние тенденции, заставляющие психотерапевтов и теоретически, и методологически, и идеологически (Варга, 1994) бороться за то, чтобы ни в коем случае не взять на себя избыточной личной ответственности за терапевтический процесс и особенно за изменения в личности, жизни и судьбе пациента.

Не вдаваясь сейчас в подробное обсуждение этой темы, лишь зафиксируем попутно имеющуюся здесь проблему. Споры нет, психотерапевт, как и любой человек, не должен брать на себя больше, чем он может понести. Нет спору и в том, что вредно потакать инфантильным тенденциям пациентов, стремящихся порой переложить ответственность за свою жизнь на терапевта – это азбука. Если бы дело ограничивалось этими азбучными истинами, то откуда бы взяться тому пылу, с которым психотерапевты иногда бросаются отстаивать свое право и даже обязанность оставаться личностью с ограниченной ответственностью, и в то же время долг пациента – становиться личностью с безграничной ответственностью за все плоды и следствия участия в психотерапевтической работе. Пыл этот, ка-

жется, связан вовсе не с теоретическими воззрениями и не с прагматической целесообразностью, он как-то связан с собственной, личной, духовной жизнью психотерапевта, с тем, где и как он проводит границы своей ограниченной ответственности и перед чем или перед кем он по своей совести эту ответственность несет, перед кем он держит ответ.

Субъективности процесса переживания в новейшей психотерапии соответствует то, что в роджерсовской терминологии именуется принятием. Это готовность принимать свидетельства субъективного опыта пациента в их таковости, не как знак чего-то иного, что должно быть дешифровано, а как самодостаточную реальность, которая может рассчитывать на доверие. Речь, конечно, не о наивной вере психотерапевта в то, что соседи психотика в самом деле выстроили гиперболоид и по ночам облучают его через стенку, а о том, чтобы принимать за реальность испытываемый человеком ужас и сопереживать этому чувству, не менее страшному от того, что домовый комитет может поручиться за добропорядочность, а то и за отсутствие соседей за стенкой. Наконец, произвольности переживания и его продуктивности соответствует стратегическая установка новейшей психотерапии – следование за процессом. Если психотерапевт убежден, что подлинные и плодотворные изменения сознания и личности пациента обеспечиваются продуктивной работой процесса переживания, то он должен превратиться в такого же послушного в буквальном смысле слова участника психотерапевтического процесса, как послушен поэт, ничего не выдумывающий, а именно всем напряжением своего существа вникающий сквозь шумы случайностей и произвольностей в реальнейшую истину звучащей стихотворной мелодии, как послушен саморазвертывающемуся сюжету романиста, которого сплошь и рядом удивляют его герои, как послушен даже – по парадоксальной мысли Осипа Мандельштама (1987) – дирижер оркестру.

КОММУНИКАЦИЯ

Кроме переживания, еще одна категория человеческого бытия стала в новейшей психотерапии фокусом теоретических построений и замечательных психотехнических находок. Речь о категории коммуникации. Конечно, можно заново переинтерпретировать всю историю психотерапии в ее главных узловых моментах с коммуникативной точки зрения, представив ее как ряд изменений в способах построения терапевтического диалога между пациентом и терапевтом. Такая интерпретация истории была бы продуктивна, а потому справедлива, но, тем не менее, только в послевоенной психотерапии сама эта диалогическая парадигма начинает занимать все более доминирующую позицию, постепенно распространяясь с области психотерапевтических отношений и взаимодействия между терапевтом и пациентом, то есть с области, принадлежащей коммуникативным воззрениям как бы по естественному праву, на другие области и аспекты психотерапии. Она заявляет свои притязания на то, чтобы именно ей был предостав-

лен заказ на формирование психотерапевтических представлений, даже о таких, как раньше казалось, вполне «монологических» вещах, как личность пациента, причины душевных расстройств и результаты терапевтического процесса.

Творческий потенциал этой парадигмы, как выяснилось, оказался настолько велик, что превзошел все самые смелые ожидания, она дала такие изящные, яркие и убедительные теории и позволила развить такую эффективную технологию психотерапевтической работы, что к девяностым годам нашего столетия стало складываться впечатление, что психотерапия может все, что она может творить чудеса не только в своей исконной вотчине – клинике неврозов, но и в других, самых горячих точках современной социальной жизни, где, казалось бы, уже никто и ничто не может помочь. Психотерапия – это последнее дитя европейской культуры девятнадцатого века – вошла в пору своего цветения и с легкостью гения стала браться за разнообразнейшие проблемы: от примирения десятилетиями враждующих общин и наций (например, Карл Роджерс в ЮАР) до лечения рака, от создания сверхэффективных методов обучения до помощи коматозным больным и больным с многолетним глубоким шизофреническим дефектом, к которым традиционный медицинский персонал давно уже привык относиться как к муляжам с работающими физиологическими системами.

Особенностью этого чудодейственного периода новейшей психотерапии, сделавшего слово «невозможно» редким анахронизмом, явилось то, что все эти необыкновенные чудеса творились не тремя-четырьмя психотерапевтическими чудотворцами, успех которых всегда можно было «объяснить» наубедительнейшей апелляцией к имени: «Так это же Вирджиния Сатир (Карл Роджерс, Фриц Перлз)!!», а, если и не легионом рядовых психотерапевтов, то, по крайней мере, многими и многими уже не обязательно отмеченными особой харизмой, но всего лишь способными мастерами, усердно освоившими и творчески развившими опыт своих гениальных учителей. Все столь популярное у нас нейролингвистическое программирование представляет собой по исходному замыслу попытку поставить на конвейер производство психотерапевтических гениев за счет того, что взятые из работы великих харизматических мастеров вытяжки эффективных коммуникативных терапевтических стратегий впрыскивались в рядовые головы (а то и в спинной мозг). Эксперимент этот, можно сказать, удался, с той только оговоркой, что вместо гениев конвейер этот исправно выпекал и выпекает психотерапевтических бройлеров, вполне мускулистых и жизнерадостных, хоть и отмеченных каким-то клеймом диетичности и безликости по неистребимому закону природы, сопровождающему все, в чем тайна и таинство заменены на рассудок и механизм.

Мы не можем останавливаться здесь на критическом анализе нейролингвистического программирования, хотя спокойный, трезвый и систематический анализ этого феномена остро необходим нашему терапевтическому сообществу. Однако с каким бы пренебрежением или восторгом мы

не относились к нейролингвистическому программированию, нужно признать за исторический факт то, что именно эта психотерапевтическая школа создала предпосылки для превращения психотерапии в массовую профессию. Такое превращение – важнейшее событие в нашей профессии, от которого зависит ее судьба. Количество профессионалов в той или другой области само по себе значимый исторический фактор, независимо от их качества. (По душе нам или нет, что справочник Союза писателей по своей толщине если не достигает «Войны и мира», то вполне конкурирует с «Бесами», в то время как Писателей едва ли стало больше, чем во времена, когда зарождалась психотерапия, но для массы людей, от читателей до издателей, это количество является значимым, серьезным фактом, без знания которого понимание так называемого литературного процесса было бы по меньшей мере неполным.) И вот этой своей новейшей особенностью как профессии, массовостью, психотерапия обязана именно коммуникативной парадигме, которую создатели НЛП Р.Бандлер и Дж.Гриндер, ученики Грегори Бейтсона, применили к методологическому анализу терапевтического процесса.

Конечно, коммуникативным стилем мышления блестяще владел уже Зигмунд Фрейд. Большинство его метафор, и даже такие важнейшие для психоанализа категории, как Я, Цензура и др., имеют явно коммуникативную природу. Это стало понятно еще в ранних бахтинских анализах фрейдизма (Волошинов, 1927), однако именно в *парадигматическую* категорию психотерапии коммуникация превращается постепенно, достигая полной мощности в методологических изысканиях Грегори Бейтсона и в лингвистическом психоанализе Жака Лакана.

Коммуникативная парадигма, повторим, начинает формировать не только представления о процессе взаимодействия пациента и терапевта, что более чем естественно, но и понимание природы личности, причин психопатологии и даже результатов психотерапевтического процесса. Что касается представлений о человеческой личности, то она начинает рассматриваться как сплошь состоящая из «диалога голосов», как полифония, как «словшество» (Ж.Лакан), то есть такое существо, сами «клетки» которого есть по природе – слова, а интимнейшие обменные процессы – речь, обмен словами, диалог. Насколько распространенным и продуктивным диалогическое понимание личности оказалось в психотерапии, показывает замечательная работа В.Н.Цапкина «Личность как группа – группа как личность» (1994). Наиболее наглядным примером коммуникативного понимания этиологии некоторых психических расстройств является представление о «двойном узле» (Бейтсон и др., 1993), с помощью которого «шизофреногенная мать» формирует шизофренические структуры у своего ребенка.

Столь же ярким примером коммуникативного представления о результате психотерапии является знаменитая формула Жака Лакана, по которой «Субъект начинает анализ с того, что он говорит о себе, но обращается при этом не к вам, или он обращается к вам, но говорит не о себе. Ес-

ли он способен говорить о себе и обращаться при этом к вам, значит, анализ завершен» (*Lacans*, 1966, p.261). Эта формула звучит чрезмерно парадоксально только вследствие трудноискоренимой привычки натуралистического мышления к тому, чтобы мыслить все, а уж в особенности такие серьезные вещи, за которые платят деньги, как результат лечения, в терминах объективных и объектных. Однако по своей глубине и точности эта формула смело может быть причислена к золотому фонду психотерапевтической мысли, ибо она таким малым количеством слов, как маленькая железнодорожная стрелка, отправляет на свалку эшелоны путаницы и глупости, которые накопились и продолжают добываться в неправильно заложенной шахте проблемы эффективности психотерапии, освобождая путь для теоретически плодотворного и практически удобного решения этой проблемы. Искать его нужно не в старом тупике, где трудоемкими усилиями с помощью новейших компьютеров и изошренных статистических программ добывается нелепый с психотерапевтической точки зрения материал только потому, что он так желателен для страховых касс и прочих чиновничьих организаций, требующих «объективных критериев» в деле, вся суть которого, вся объективность которого – субъективна. Решение этой проблемы, как открывает нам формула Ж.Лакана, находится совсем в другом горизонте, не там, где мы тщимся помимо личности и сознания пациента определить, что в нем было до и что есть после курса психотерапии, а там, где, мы сами являемся участниками и фигурами его речи, его человеческого слова о самом себе. Раздражение чиновников, которым по долгу службы нужно, чтобы сошлись все нули, вполне понятно, так же, как понятно и негодование «чистых ученых», воспринимающих отсутствие ясных, однозначных, объективно фиксируемых результатов психотерапии как недомыслие или шарлатанство. Но любому непредвзятому человеку, даже несведущему в психотерапии, но по роду ли занятий или по личному опыту знающему всю мощь человеческого слова, которое способно передвигать горы, оживлять мертвых, равно как и, увы, убивать живых, мысль о том, что об успехе психотерапии можно (и нужно!) судить по тому, как сам пациент стал способен говорить о своих проблемах, покажется убедительной и верной.

Подытоживая рассуждение о диалогической парадигме, можно сказать, что она создала не просто новое «упование», а как бы изнутри преобразила саму эту категорию упования. Под «упованием» мы до сих пор имели в виду тот процесс на полюсе пациента, стимулируя, вызывая, фасилитируя который, психотерапевт мог рассчитывать на достижение психотерапевтических результатов, но с воцарением диалогической парадигмы само это представление о двух отдельных, хоть и переплетенных процессах – процессе психотерапевтического воздействия и некоем продуктивном психическом процессе в самом пациенте – претерпевает изменения. Психотерапевтический процесс начинает мыслиться не как взаимодействие, сочетание, связь двух букв, например, «м» и «ы», а как жизнь целостного слова «мы», которое не разлагается на части без потери смысла.

Когда Милтон Эриксон (1995) обещает пациенту: «мой голос будет с вами», то тем самым он лишь явно выговаривает то, что реально происходит не только в эриксоновской терапии, но и в любой другой. Психотерапия не влияет на сознание пациента так, чтобы мы отдельно могли каким-то образом зафиксировать психотерапию, отдельно сознание, и оценить, как сознание изменилось после психотерапии. Психотерапия и сознание взаимно опосредуют друг друга, соединяются своими кровеносными системами так, что никакой «психотерапии» после встречи с этим пациентом не существует, а существует только реальный психотерапевтический случай именно с этим пациентом. Равно как и не существует никакого сознания пациента после психотерапии. Коль скоро психотерапия состоялась (в том смысле, в котором можно сказать, состоялась ли Поэзия в этом стихотворении), сознание пациента вобрало в себя голос, личность, мысль, – словом, дух совершившейся психотерапии.

Конечно, и внутри самой диалогической парадигмы неизбежны эксцессы натуралистического мышления и адекватного ему механического действия, и тогда упование психотерапии вновь начинает растягиваться по отдельным полюсам. Тогда на полюсе пациента обнаруживается «внутренний диалог», организация, стимулирование и усовершенствование которого и мыслится, собственно, как процесс, обеспечивающий психотерапевтический результат. На другом полюсе, который может быть представлен радикальными адептами НЛП, упование вообще перетягивается на действия терапевта, так что любой неуспех терапии квалифицируется просто как неумение или ошибка психотерапевта. Тем самым неявно утверждается предельная вера в технологию, которая, нивелируя сразу две личности – и терапевта, и пациента, – объявляется принципиально самодостаточной и стопроцентно гарантирующей успех, если соблюдены все операциональные инструкции. Разговоры о каких-то тайнах и глубинах личности психотерапевта и личности пациента, которые могут вопреки технологии сказать свое последнее слово, иронически объявляются с позиций радикального коммуникативного техницизма нелепым оправданием собственной неумелости, равносильным ссылок механика, неспособного отремонтировать автомобиль, на «капризы» двигателя (*Бандлер, Гриндер, 1995*).

* * *

Если попытаться бросить общий взор на все эти исторически сменяющие друг друга психотерапевтические упования, то мы заметим, что при появлении каждого следующего предыдущие вовсе не выходят из обращения в мире психотерапии. Среди пестрых флагов психотерапевтических школ до сих пор можно встретить такие, которые несут на себе те же самые девизы, которые были начертаны на знаменах раннего психоанализа или психодрамы. Появляются и системы, дающие новые версии старых упований. Так, например, когнитивная психотерапия при всей ее чуждости психоанализу в известном смысле является дериватом психоаналитическо-

го упования на процесс осознания, возлагая надежду в своей практике на то, что осознание «автоматических мыслей» и разного рода «предрассудков» может восстановить адекватное мышление пациента.

Сейчас наблюдается все более заметная эклектическая тенденция, так что при сохранении всех номинальных различий, организационных дифференциаций и институциональных барьеров реально по своему составу, по технике и теории психотерапевтические школы во многом сближаются, перекрывают друг друга, многое заимствуя, а многое открывая независимо друг от друга. Эта эклектическая тенденция касается и того параметра организма терапевтической школы, который мы назвали «упованием». Многие направления, претерпевшие особенно бурное развитие в последние десятилетия, одновременно опираются сразу на несколько упований. Например, эриксоновская гипнотерапия достигает блестящих психотерапевтических результатов за счет комбинирования двух из проанализированных упований: внушаемости и переживания. Индирективный гипноз М.Эриксона создает такое состояние сознания пациента, в котором интенсифицируются, буквально расцветают внутренние процессы продуктивного переживания пациента, и вводимые терапевтом терапевтические содержания в виде метафор, историй или анекдотов оказываются релевантными этому живому процессу переживания и именно поэтому настолько действенны в отличие от старой, дофрейдовской суггестивной психотерапии, условием эффективности которой являлся отказ пациента от своего знания, своей воли и своих чувств. Новая индирективная гипнотерапия как раз создает благоприятнейшую среду обитания для переживания пациента, то есть для того самого внутреннего интимного личностного процесса, по которому человек понимает, что это именно он живет. Эта гипнотерапия открыла методы внушения, обходящиеся без порабощения личности пациента.

Наряду со всеми синтетическими тенденциями в развитии психотерапии необходимо отметить и существование в современном «палеонтологическом» срезе, так сказать, древних, примитивных форм, которые по своей массовости не только не уступают более развитым и тонко организованным психотерапевтическим организациям, но порой, кажется, начинают захлестывать и покрывать собою всю ту область, которая в сознании широкой общественности ассоциируется со словом «психотерапия». Самым наглядным примером этого рода может служить грандиозная империя кодирования, зародившаяся в захолустной Феодосии и покрывшая собой все пространства бывшего Союза. Такая скорость распространения этой примитивной формы психотерапии, такие финансовые обороты, которые, собственно, и привлекают из врачей и психологов все новых и новых рекрутов, являются чрезвычайно интересным материалом для социологического и социально-психологического анализа сознания современного постсоветского обывателя. Мы же с точки зрения проблемы упований психотерапии должны отметить, что так называемый метод кодирования является рецидивом самого старого из психотерапевтических упований – внушае-

мости.

Существует ли какая-то внутренняя логика в смене психотерапевтических упований? Хотя история психотерапии не может быть описана как линейный прогрессивный процесс, но, тем не менее, можно усмотреть общую тенденцию, простирающуюся за сменой психотерапевтических вех. Если отвлечься от всех частных деталей, подробностей, боковых ответвлений, возвратов конкретного исторического процесса, то главная линия, вокруг которой нервно пляшет стрелка исторического компаса психотерапии, ведет от раба к личности. Пример кодирования в наиболее выпуклой и грубой форме выявляет ту внутреннюю подоплеку, которая стоит за голым принципом внушаемости. Это искушение рабством, соблазн вещиности.

В человеке существует стремление к рабству, желание отказаться от ежедневных усилий самому быть человеком и другого воспринимать как личность. Человечность существования «берется силою», начиная от вертикального положения тела, требующего непрерывного волевого усилия, и заканчивая молитвой, собеседованием с Богом. Но так часто нам хочется отдалиться от лени, отказаться от человеческого призвания, сесть, а лучше — лечь, расслабиться, прикрыть глаза, так часто хочется как-нибудь механически закрепить достигнутый ценой прежних усилий успех, так чтобы наш статус, или деньги, или подчиненные, или слава наконец потрудились бы за нас. Так удобно бывает другого воспринимать как роль, функцию, болезнь, характер, должность, типаж и т.д., а не как личность. Если эта тенденция «бегства от свободы», бегства от личностного бытия является общераспространенной человеческой особенностью, то в клинике алкоголизма и наркомании, почти полностью оккупированной методом кодирования, эта тенденция особенно сильна. Волевого снижение является одним из важнейших симптомов токсикоманического уплощения личности. Именно эту тенденцию эксплуатирует метод кодирования. Алкоголику, уставшему или не желающему бороться со своим пристрастием, так дорога мысль, что в этом лечении он может себе позволить превратиться просто в вещь, которой по своей воле будет манипулировать врач, что он готов раздобывать любые деньги, лишь бы дело обошлось без его личностных усилий, без его человеческого участия. Стоит вспомнить о том, что раб — это, собственно говоря, вещь, так что по-латыни они даже именуются одним словом «res».

Именно этому полюсу раба и вещи противостоит историческая тенденция психотерапии. Подчеркнем: речь не только и не столько об изменении воззрений на человека в психотерапевтической теории, сколько о реальном осуществлении в психотерапевтической практике такого типа отношений, которые предполагают актуализацию в пациенте большей или меньшей степени рабства или свободы. Адепт метода кодирования на досуге вполне может думать, что человек рожден для свободы, как птица для полета, но своим практическим действием он ставит своего пациента в такие обстоятельства, в которых существующее в нем стремление

к рабству начинает развиваться, усиливаться, получая свое идеологическое оправдание и социальное подкрепление.

При всех пороках современной психотерапии надо отдать ей должное в том, что она не идет, как правило, по пути наименьшего сопротивления, ожидая и требуя от пациента свободы и правды. Сами представления о свободе, истине и личности, которые обращаются в современной психотерапии, часто ущербны и ограничены, но в меру своего разумения она призывает их к бытию. Психотерапия помогает человеку совершить усилие, чтобы увидеть тягостную правду о самом себе, чтобы выйти за пределы невротической склонности подчиняться ожиданиям других людей или социальной группы, ожиданиям, не считающимся с реальным предназначением этого человека. Психотерапия, наконец, дает ему возможность выговорить правду своих чувств, которая тщательно скрывалась от окружающих и от самого себя. Психотерапия повсюду борется против фарисейской нормативности, и если ее при этом и заносит в аморализм, то оправдание ее в том, что она ни на минуту не хочет оставить реальность душевной жизни, истину души, ибо верно чувствует, что между истиной, свободой и личностью есть интимная и неразрывная связь.

Когда вглядываешься не в разногласицу и пестрое многообразие сменяющих друг друга психотерапевтических школ и направлений, а в сокровенный смысл истории психотерапии, то начинает явственно проступать та предельная ценность, которой призвана служить психотерапия. Каждая профессия оправдывается, в конечном итоге, какой-то высшей ценностью, и в отношении этой ценности должна прежде всего ориентироваться. Юриспруденция служит справедливости, наука – истине, искусство – красоте. Все они технически и фактически могут служить и другому: юридическое знание можно использовать для оправдания виновного и обвинений невинного, наука может обслуживать войну и систему политического тоталитаризма, искусство может с успехом использоваться в коммерческих целях (реклама, например). Так и психотерапия: она может служить и фактически служит и здоровью, и бизнесу, и той же рекламе, но высшая, предельная ее ценность несводима и невыводима из этих ограниченных целей и задач. Герой одной сказки, которого соблазняют продать волшебную дудочку, отвечает, что она не продажная, а заветная. Имея в виду это замечательное различие продажного и заветного, можно сказать, что психотерапия может делать и делает многое на продажу, нередко отдает кесарю не только кесарево, и за счет этого «реализма» и «адаптированности», как ей кажется, она и выживает, но, тем не менее, по-настоящему, хотя и невидимо, *держится* она и оправдывается своей заветной, предельной ценностью. Имя ей – свобода. Речь, конечно, о внутренней свободе личности, а не о правах, о свободе воли, сознания, совести, чувства.

МОЛИТВА

Именно этой способностью психотерапии служить свободе, именно

этим ее имманентным стремлением к такому служению и должно определяться христианское отношение к психотерапии. Взгляд на психотерапию изнутри полноты церковного опыта позволяет сквозь все струпья на ее теле, увидеть этот ее святой дар и призвание – служить человеческой свободе. Ведь и сама свобода – величайший из даров, данный человеку Богом. Бог не захотел механически послушной машины, безгласного раба, он ожидает свободного ответа личности. Даже такие самоценные вещи, как святость, верность, любовь не могут существовать, будучи вынуждаемы, пусть и самим Богом, в их состав просто входит свобода, без которой они перестают быть самими собой.

Величайшая задача психотерапии состоит в том, чтобы служить поддержанию этого внутреннего огня свободы в человеке. Человек склонен, как уже говорилось, сам скатываться в разнообразные виды рабства, вынужденности, связанности, плененности, и ему нужно и можно постоянно напоминать, что он призван к свободе. В любом положении – в самом ужасном и самом счастливом, в любом действии – в самом святом и самом греховном, он остается свободным. Бездонная глубина его свободы простирается от свободы выбрать Бога, откликнуться Ему, сказать ему «да» до свободы отказаться от Бога, отвергнуть Его и отвернуться от Него.

Психолог и психотерапевт ни по профессиональным канонам, ни по имеющимся средствам, ни по своей подготовке не может, занимаясь психотерапией, то есть душепопечением, делать это во всей полноте и печься одновременно о телесном и душевном здравии, о святости, о полноте благодати и любви и о «благорастворении воздухов», которыми дышит душа. Его ограниченная, но и высочайшая задача – напоминать о свободе, о свободе выбрать святость и грех, падение и молитву, ненависть и любовь. Конечно, психотерапия не может забывать о своем обычном стремлении к тому, чтобы человеку, *пациенту стало лучше*, но в этой своей повседневной заботе она не должна забыть того, что сокровенное, глубинное стремление человека состоит в том, чтобы *он сам стал лучше*. Это не означает, что психотерапия должна «улучшать» человека; все, что она может и должна делать – это помогать человеку избегать бегства от свободы, тем самым постоянно расчищая место, на котором может вырасти все, в том числе и святость.

Общая идея свободы как высшей ценности психотерапии нуждается, конечно, в конкретной методологической, научной и психотехнической проработке, но, не дожидаясь ее результатов, стоит поискать живые примеры, способные служить ориентирами. Ценности наполняются подлинным смыслом, когда они воплощены в личности. Святость остается абстрактной категорией без Сергия Радонежского или Франциска Ассизского.

Итак, если представить ценность свободы не в виде абстракции, а воплощенной в конкретном человеке, то для русской культуры нет более убедительного образца свободы, чем Пушкин. Вспоминая снова мысль Ж.Лакана, что человек есть «словшество», можно уточнить, что он является словом лишь потенциально, а по актуальному существованию он чаще –

мычание, заикание, утаивание, одышка. Пушкин же являет собой воплощение свободы слова, свободы сказать обо всем, всем и от всей полноты души. Свободу слова невозможно дать, ее можно только взять, обрести, свобода слова – это не внешнее разрешение говорить: это способность *сметь* говорить вопреки внешним и внутренним запретам и способность *уметь* говорить вопреки стихии косности, делая слово творческим актом. Так в психотерапии человек получает возможность необыкновенно редкую вне специального психотерапевтического контекста – суметь и сметь сказать себя. И в этом высказывании себя человек не просто обретает осмысленность существования, он сам в большей степени становится не вещью, а словом, логосом, смыслом.

В этом «суметь и сметь сказать себя», в этой внутренней свободе слова как заветной ценности психотерапии сконденсированы все ее упования, на которые она возлагала надежду в разных школах и направлениях в разные исторические периоды. «Суметь и сметь сказать себя» – это значит и осознать свои глубины, скрытые от поверхностного взора, это значит и творчески выявить в спонтанном проявлении свою глубину, это значит понять, принять и выразить свое переживание, это значит войти в свободный диалог с другим. Свобода слова – это синтез свободы сознания, свободы воли, творческого переживания и диалога.

В богословской перспективе можно сказать, что в этом движении к слову человек стремится осуществить себя как образ и подобие Божие. Ибо если Бог есть Слово (Ин. 1, 1), то и человек должен стать словом, чтобы быть по самому своему составу сродственным Богу. Таково предельное, а лучше сказать, запредельное задание психотерапии, ее миссия.

Спросим себя, возможна ли психотерапия, дерзающая принимать такое непосильное призвание? Возможна ли психотерапия, которая, стремясь и к избавлению пациентов от симптомов, и к преодолению их невротических проблем, и к разрешению семейных конфликтов, и к прочим полезным вещам, *чаёт* ни много ни мало – обожения человека? Возможна ли психотерапия, которая не просто мечтает об этом запредельном горизонте, а реально ориентируется по нему и вводит его в ткань конкретного терапевтического процесса? Всякому здравомыслящему специалисту ясно – невозможна.

Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). Страшно об этом говорить, но так есть: такая психотерапия может состояться только если Сам Бог соблаговолит участвовать в ней. И потому эта невозможная психотерапия должна быть названа синергийной, ибо она осуществима лишь в соработничестве человека и Бога. Синергийная психотерапия основывается на синергийной православной антропологии (см. *Хоружий*, 1995).

Синергийная психотерапия есть психотерапия в известном смысле несамодостаточная, неуверенная, она использует испытанные психотерапевтические механизмы, но не может до конца на них положиться, она изначально не полна (ни в плане познания, ни в плане действия) и ну-

ждается в восполнении. Это не какая-нибудь особо духовная, спиритуальная психотерапия, напротив, она – «нищая духом», и, как у нищей, у нее должна быть раскрыта ладонь. Такой ладонью является молитва. Молитва и есть главное упование синергической психотерапии.

Делая точкой опоры всего терапевтического процесса молитву, синергическая психотерапия видит свою задачу в том, чтобы помочь пациенту от безысходности жизненных тупиков приблизиться к такому личностному состоянию, где в нем начнет пробуждаться надежда на Бога, зарождаться и укрепляться молитва. Терапевтический диалог при этом может опираться и на процесс осознания, и на спонтанность, и на переживание, может так и остаться на этих уровнях, если молитва не родилась в душе пациента, но даже и в этом случае главным упованием и главным предметом заботы синергической психотерапии является молитва. (Забота об отсутствующем и надежда на него вовсе не парадокс: так мать может загодя заботиться о неродившемся еще ребенке и надеяться на него). Чем ближе психотерапевтические отношения приближаются к возможности согласной молитвы психотерапевта и пациента, чем больше молитва в конце концов высвобождается из кокона психотерапии, тем больше исполняются и в синергической психотерапии, и в самой молитве – конечно, в преображенном виде – прежние терапевтические упования – полнота доверия, глубина осознания, спонтанность проявления, подлинность переживания и реальность Встречи.

ЛИТЕРАТУРА

- Бандлер Р., Гриндер Дж. *Из лягушек в принцы*. М., 1995.
- Бейтсон Г., Джексон Д.Д., Хейли Дж., Уикленд Дж.Х. *К теории шизофрении*. – *Московский психотерапевтический журнал*, 1993, № 1-2.
- Варга А.Я. *Аутопсихотерапевтическое сочинение на религиозную тему*. *Московский психотерапевтический журнал*, 1994, № 1, с.164-170.
- Василюк Ф.Е. *Психология переживания*. М., 1984.
- Василюк Ф.Е. *От психологической практики к психотехнической теории*. – *Московский психотерапевтический журнал*, 1992, № 1, с.15-32.
- Волошинов В.Н. *Фрейдизм. Критический очерк*. М.-Л., 1927.
- Занадворов М.С. *Я и Иное*. – *Московский психотерапевтический журнал*, 1994, № 2, с.179-190.
- Мамардашвили М., Пятигорский А. *Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке*. М.: Самиздат, 1974.
- Мандельштам О. *Слово и культура*. М., 1987.
- Минделл А. *Работа со сновидящим телом*. – *Московский психотерапевтический журнал*, 1993, № 3, с.117-136.
- Пузырей А.А. *Культурно-историческая психология Л.С.Выготского и современная психология*. М., 1986.
- Эриксон М. *Мой голос останется с вами*. С.-Пб., 1995.
- Хоружий С.С. (ред.). *Синергия. Проблемы аскетики и мистики Пра-*

вославия. М., 1995.

Цапкин В.Н. Личность как группа – группа как личность. Московский психотерапевтический журнал, № 4, 1994, с.11-28.

Gendlin E.T. *Experiencing and the Creation of Meaning*. N.Y., 1962.

Lacan J. *Ecrits*. Paris, 1966.